Владимир ЦАРИЦЫН

ДЕРЕВО СЕРАФИМЫ

@ЭЛИТА

16+

Владимир Царицын

Дерево Серафимы

Электронное издательство "Аэлита"

2013

Царицын В.

Дерево Серафимы / В. Царицын — Электронное издательство "Аэлита", 2013

Главный герой – Евгений Игнатов – неизлечимо болен. Ему осталось жить практически два месяца. Он пытается вспомнить всё происшедшее в его жизни. Из разрозненных пазлов складывается картина, центральное место в которой занимает большая настоящая любовь. Серафима – женщина, которую Игнатов любил можно сказать с самого детства. Жизнь развела их, но позволила встретиться вновь. Однако вечного счастья не бывает. Серафима, работая экорейнджером, погибает при извержении вулкана. Дерево, привезённое ею издалека и подаренное любимому, способное цвести раз в сто лет, зацвело. По преданию его листья и цветы обладают целительной силой. Так оно или иначе (ведь дерево это – символ великой любви, а именно любовь способна творить чудеса), но герой побеждает болезнь. Да к тому же его ждёт сюрприз – как награда за любовь и страдания.

© Царицын В., 2013
© Электронное издательство "Аэлита", 2013

Содержание

1. Шестьдесят дней 6
2. Пятьдесят девять 15
3. Пятьдесят семь 22
4. Пятьдесят три 24
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Владимир Царицын
Дерево Серафимы

© ЭИ «@элита» 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

1. Шестьдесят дней

Всё. Я у финиша. Осталось…

Собственно, ничего почти не осталось. Разве что попытаться вспомнить что-то забытое и освежить в памяти незабываемое? Описать бы свою жизнь на бумаге, да не успею. Да и кому это надо?..

Андрей Александрович сказал, что боли меня мучить не будут. Только слабость. Слабость дойдёт до последней точки – и всё. Финиш. Встречайте меня те, кто ушёл раньше.

Серафима, встречай меня!

– Редкая у вас болезнь, Евгений Васильевич, – сказал мой лечащий врач Андрей Александрович Малосмертов, – редкая и совершенно не изученная. Современной медицине известно не более сотни случаев, подобных вашему. Лекарство от этой болезни, естественно, ещё не придумано. И думаю, – сказал Малосмертов, – в ближайшие лет десять-двенадцать придумано не будет, если вообще… – и задумчиво пожевал губами.

Мне что до этих десятка с лишним лет, если жить осталось всего ничего. Никто не знает, сколько. Андрей Александрович засунул мои данные (анализы и прочее) в компьютер и получил результат – девять с половиной недель. Прям как название эротического фильма, с Микки Рурком в главной роли.

– Правда, этот срок чисто условный, – добавил совершенно спокойно Малосмертов, – эмпирический, так сказать. Кто знает? Может быть, и дольше протянете…

Именно так: «протянете». Не «проживёте», а «протянете». Учитывая моё состояние – самое подходящее слово.

– Или меньше? – задал я уточняющий вопрос.

– Или меньше, – согласно кивнул он, сверкнув ранней лысиной.

Мы с Малосмертовым о моей неизбежной кончине разговариваем вполне спокойно. Я уже свыкся с мыслью, что надо готовиться, собираться, так сказать, в путь-дорогу, а Андрей Александрович так часто сталкивается со смертью, что вообще относится к ней легко, то есть – профессионально. Что же касается этических моментов, тут тоже всё нормально: моя инициатива. Я ему сразу сказал:

– Вы со мной, Андрей Александрович не деликатничайте. Я же понимаю, что у вас ко мне чисто академический интерес. Вернее, не ко мне, а к моей болячке. Вылечить меня вы не можете, так что – валяйте, жгите открытым текстом. Понаблюдаете за мной, поглядите, как я разваливаюсь, авось будущим поколениям польза будет. Поможете кому-нибудь. Такому, как я… А я смерти не боюсь, пожил. Я к ней совершенно готов.

– Пятьдесят два года, – начал со мной спорить Андрей Александрович, – это вы называете «пожил»?

– Пятьдесят три, – поправил я, – почти. А что, нормально. Это для кого как. Для кого-то мало, а для кого – в самый раз. Смотря как жить и с чем прибыть к конечной станции.

– Вам пятьдесят три только через три месяца будет, – напомнил мне Малосмертов.

Я расхохотался, если можно хохотом назвать те звуки, которые были мне по силам:

– Ясно. Девять с половиной недель меньше, чем три месяца. Что ж вы, Андрей Александрович, меня обманываете? Говорили: «может быть, и дольше протяну». Я, Андрей Александрович, человек реальный, трезво могу рассуждать, а закатывать истерики – это не про меня. Значит, девять с половиной недель – максимум?

Малосмертов стушевался. Сказал:

– Я даже слегка прибавил.

– Слегка – это сколько?

– Половинку недели… Но я же вам говорю – этот срок расчётный. На него ориентироваться не стоит. Он получен на основе анализа данных за период от начала вашей болезни и до вчерашнего дня. Динамика…

– Стоп, – сказал я, – я всё понял, можете не продолжать. Сойдёмся на девяти с половиной неделях. Мне нравится это число – девять и одна вторая. Всё, что сверх – отнесём на погрешности в ваших расчётах.

Доктор Малосмертов пожал плечами, соглашаясь.

Малосмертов… Вот же досталась фамильичка! Согласитесь, врачу быть Малосмертовым! Не самая подходящая фамилия, правда? Для врача. Малосмертов или Многосмертов – для безнадёжно больного – это без разницы. Лишнее упоминание о неизбежном конце не особенно благотворно влияет на его душевное равновесие, подъёму жизненного тонуса, так сказать, не способствует. Но это касается других, не меня. Я спокоен. Мне поднимать нечего. И ничего не жалко. А знаете, почему? Потому, что здесь меня ничто не держит.

Полторы недели с того момента, как я узнал свой срок, уже прошло. Значит, осталось восемь. Два месяца. Не густо. И в то же время – очень много. Чем же мне занять эти два месяца? Целых шестьдесят дней! Книги я всегда читал не столько ради удовольствия, сколько с целью получения информации. А теперь? Зачем мне теперь какая-то информация? С телевизором – то же самое. Даже ещё хуже. Выбора нет. Смотреть сериалы про Дашу Васильеву и Васю Рогова? Или рекламу? «В животе ураган, принимай эспумизан». Я своё уже отпукал. Бывают такие моменты, что напрячься для этого самого дела – сил нет. Или желания.

Остаётся одно – лежать, закрыв глаза и вспоминать. Напряжение мысли у меня ещё пока получается. Надолго ли?

Вспомнить… Вспомнить всё, что удастся, и попытаться вспомнившееся переосмыслить.

Начну, пожалуй, с детства.

Сидели в беседке детского садика, который не работал и стоял с заколоченными дверьми и окнами. По-моему он вообще никогда не работал, сами мы в детский сад не ходили. Мы – это я, семилетний белобрысый ангелочек, и мой одногодок и лучший друг детства Вовка Лукин. Тоже беленький, да ещё и кудрявый. Мальчики из приличных семей. Два ангелочка! Мой отец работал ГИПом в «Гипродамбе», Вовкин папа не знаю кем, тоже инженером каким-то. Но тоже в «Гипродамбе».

Сидели и матерились. Слова новые, таинственные, нам нравилось их произносить. Запретный плод…

– … моржовый, – говорил я.

– … волосная, – говорил Вовка.

Что такое «…» в первом случае и что такое «…» во втором мы знали, нам это объяснил Гера. А вот «моржовый» – думали, большой. Слово же «волосная» вообще произносили неправильно. Надо было «волостная», от слова волость, а мы думали – волосатая.

Короче, нас застукали на месте преступления.

– Женька, атас, – тихо сказал Вовка и переместился на перила беседки.

Я стоял спиной к входу. Собственно говоря, я и не сразу среагировал на Вовкин «атас». Стою, лыблюсь, как дурак.

А может, Вовка и не «атас» сказал? Может, «шухер»? Нет, точно не «шухер». Мне кажется, в нашем детском лексиконе этих слов – шухер и атас – на тот момент ещё не было. Может быть, Вовка вообще ничего не сказал, а просто взял и вспорхнул на перила? Но глаза Вовкины я помню – в них был натуральный испуг.

– Ага! Материтесь? – услышал я за спиной взрослый мужской голос.

– Это не я, – быстро сообразил мой лучший друг и указал на меня, – это он научил.

Меня схватили за шкирку, я вырвался и попытался убежать, но через три секунды был снова пленён. Вовка не терял времени даром – только сверкнули в воздухе подошвы его сандаликов и тут же затрещали кусты сирени. Ну… насчёт подошв Вовкиных сандаликов это я так, образно, не увидел я их, только слышал, как Лукин ломится сквозь кусты.

– Стой здесь, – грозно приказал мужик, который наверняка был никаким не мужиком, а молодым парнем, и, естественно, комсомольцем, просто все взрослые – без градации по возрастам – казались нам во времена детские мужиками и бабами, в смысле женщинами. – Никуда не уходи. Понял меня?

И бросился догонять Вовку.

Я постоял, переминаясь с ноги на ногу, наблюдая, как комсомолец, продравшись через сирень, забегает за угол детского сада, и свалил домой. Честно сказать, сначала я хотел дождаться комсомольца, ощущая некую обречённость в судьбе, но что-то толкнуло меня в спину. Словно кто-то сказал мне: «Беги, Женька! Не будь дураком!». И я убежал.

Дверь мне открыла бабушка. Я быстро скинул сандалики, и, воровато проскользнув мимо неё и мимо раскрытой двери гостиной, где веселились родители и их гости (самым слышным был мамин голос), сразу прошёл в бабушкину комнату и шмыгнул в угол. В углу стоял скрипучий венский стул, на котором я обычно не сидел; чаще забирался с ногами на бабушкин сундук, покрытый плюшевым покрывалом с оленями. (Точно такое же покрывало, правда, бабушка называла его ковром, висело на торцевой стенке). Рядом со стулом стояла этажерка с книгами. Я взял первую попавшуюся книгу (как сейчас помню – это была книга о приключениях Гулливера с красивыми красочными картинками), уселся на скрипучий стул и стал с умным и спокойным видом разглядывать картинки. Читал я в семь лет ещё не очень.

– Что случилось, Женечка? – с тревогой в голосе спросила бабушка, заподозрив неладное. Она вошла следом за мной и остановилась в дверях.

Я вздрогнул и слишком резко, что шло вразрез с моим спокойным видом и последующим ответом, замотал головой и хрипло выдавил:

– Ничего.

И в ту же секунду раздался звонок в дверь. Или постучали? Был ли в нашей квартире звонок в одна тысяча девятьсот шестьдесят первом году? Не помню. Кажется, всё-таки был.

Бабушка пошла открывать дверь.

Я сразу понял: пробил час расплаты! Сейчас я отхвачу ремня. Бабушку я не боялся. По определению. Разве можно бояться бабушки, у которой ты – любимый и единственный внучёк? Она и ремня-то в руках никогда не держала, только когда вставляла его в выглаженные ею отцовы брюки. Я боялся отца. Не вообще, а именно в тот момент. Я тоже у отца был единственным и наверняка (вспоминая сейчас, знаю это точно) любимым. Но отец есть отец! Он – мужчина, и у него есть ремень.

В тот день был какой-то праздник. К родителям пришли гости, и они выпивали. Не могу сказать, что отец был очень уж… любителем выпить. Но выпивал иногда. По праздникам. Иногда, бывало, сильно. Если хотя бы папа был трезвый, может и пронесло бы… Но этот праздник!.. А что же это был за праздник? Лето, тогда было лето, самое начало – сирень цвела. Значит, в тот день отмечали день рождения отца.

– Вы – бабушка Жени Игнатова? – услышал я уже знакомый мне голос. – А родители его дома? Отца позовите, пожалуйста.

Вспоминая сейчас свои тогдашние ощущения, могу точно сказать – моё сердце ушло в пятки. И ещё мне стало очень холодно, как когда-то ещё раньше, может, этой прошедшей зимой. Или прошлой?..

…Мы всё с тем же Вовкой Лукиным, воспользовавшись тем, что ни моих родителей, ни бабушки не было дома, раздетыми выбежали на балкон. Вовка сказал: «Айда! Что покажу!».

И я поайдакал вслед за ним. Перила балкона были из железной неокрашенной трубы. Мороз был неслабый, и труба накалилась холодом до высшего предела. Вовка высунул язык и быстро лизнул трубу. «Кисло, – сказал он. – Попробуй. Я так у себя на балконе пробовал. Кисло, как батарейку лижешь. Меня Лешка Жук научил». Я, конечно же, лизнул. Припал языком к трубе, как к контактам батарейки. И прилип, конечно. «Отлепляйся быстрее! – заорал Вовка. – Я же тебе показывал, как надо. А ты…» Я попытался отлепиться, но ничего не вышло. Я испугался. Мне стало холодно – то ли от мороза, то ли от страха, что я так и останусь с прилипшим к перилам языком до весны, а может, и на всю жизнь. Холод шёл от языка, проходил по всему телу и аккумулировался в мошонке. Буквально в несколько секунд я наполнился холодом весь, а мошонка сжалась, наверное, до размеров половинки грецкого ореха. Впрочем, в семь лет она не намного больше. «Отлепляйся!» – орал Вовка. Я дёрнулся сильнее и с ужасом увидел белую пенку кожицы от моего языка на чёрной трубе, а изо рта пошла кровь. Я заплевал этой кровью весь балкон, всю гостиную, коридор и бабушкину комнату. Я орал, как резаный, и плевался кровью. Было очень больно. И холодно.

Пришла бабушка, заохала, заахала и стала меня лечить. Впрочем, какое лечение здесь придумаешь? Я стоял над раковиной, сплёвывал кровь, жалобно ныл и ждал, когда она перестанет сочиться. Бабушка быстро разобралась в том, кто является зачинщиком этой шалости, чуть не закончившейся для меня потерей языка. Вовку она выгнала и сказала, чтобы духу его в нашем доме не было.

Потом я долго питался тёплым (не горячим) молоком и таким же тёплым негорячим бульоном. Как долго, не помню. Наверное, не очень долго. Просто в детстве дни кажутся вечностью. Особенно те дни, когда нам плохо.

Вот сказал – в детстве… Не только в детстве. И сейчас мне кажутся мои последние дни вечностью. Потому что мне плохо? Нет, потому что мне никак. Потому что я устал, лежу и жду смерти. Потому что я смертельно устал от слабости и от обречённости, устал от того, что рядом – никого. Только доктор Малосмертов иногда забегает, да соседский парнишка Егор, я его нанял.

Устал я. От жизни устал…

Возвращаюсь к тому случаю.

Бабушка позвала отца, а через минуту отец позвал меня.

В прихожей у двери стоял тот самый комсомолец, который нас с Вовкой изловил. Комсомолец держал Вовку Лукина за шиворот, Вовка угрюмо смотрел в пол.

Мой лучший друг предал меня за этот день дважды. Но тогда я не думал, что он поступил как-то неправильно. А как я бы поступил на его месте? Наверное, тоже привёл бы комсомольца-добровольца к порогу Вовкиной квартиры. А как? Можно было взять всё на себя, отказаться называть адрес друга, или наврать, что, мол, не знаю, где этот пацан живёт, в первый раз его увидел. Но это я теперь такой умный, а тогда… Нам было по семь лет, мы уважали взрослых, да и большого опыта вранья у нас не было, во вранье мы стали практиковаться несколько позже.

Папа сказал комсомольцу: «Спасибо», закрыл входную дверь, потом поплотнее прикрыл дверь в гостиную и посмотрел на меня так, что мне показалось, что я умер. Я затравленно смотрел отцу в глаза, даже не замечая, что он вытаскивает из шлёвок ремень. Потом заметил и попятился. Короче, влетело мне тогда по первое число. Ремнём и по всей квартире, исключая гостиную, где за высокими двустворчатыми дверями сидели и веселились гости. Впрочем, и без гостиной было где побегать – бабушкина комната, родительская спальня, огромная кухня, но основным полигоном для моих манёвров был широкий и бесконечно, как мне казалось, длинный коридор. Я орал и убегал, а отец догонял и хлестал. Мне показалось, что он был очень злым. Таким я его ни раньше, ни потом не видел. Злился он, видимо, оттого, что я убегал, а

он всё время промахивался. Но больше, наверное, оттого (это я сейчас так думаю), что я, сын культурных родителей (отец – главный инженер проектов, а мама – фармацевт!), а матерюсь как какой-то сапожник или как сын нашего домоуправского слесаря дяди Адольфа. Теперь мне кажется, что он даже говорил эти слова.

Сын дяди Адольфа, Герман, или Гера, как мы его звали, был старше меня года на четыре. И он уже считал себя взрослым, вовсю курил, знал очень много неизвестных мне слов и умел плевать через щель в зубах. Красиво это у него получалось! Тс-с-ык! – и летит белый харчок туда, куда надо. Иногда под ноги Геры, иногда под ноги того, кто рядом с Герой стоит. Мы пытались сделать так же, но только рубашки свои заплёвывали. И подбородки.

Если честно (а действительно – зачем мне самому себе врать?), влетело мне тогда не очень-то. Большинство папиных ударов ремнём пришлось по воздуху, по стенам и по висевшей на вешалке одежде. Только три или четыре раза я ощутил задницей жёсткий контакт с натуральной кожей отцовского ремня. Я больше от страха орал, чем от боли. Но как орал!..

Бабушка меня спасла от продолжения экзекуции, встала на папином пути, получив вместо меня шлепок ремнём по руке. Этот шлепок был самым звучным и самым болезненным. Больно было бабушке, а мне показалось, что получил его я.

Отец как-то резко успокоился.

– Извините, мама, – сказал он, – я нечаянно.

Папа всегда называл бабушку на «вы». В других семьях такого обращения к родителям я никогда не слышал. Ни тогда, ни сейчас.

– Я больше не буду! – пропищал я из-за бабушкиной спины.

– Узнаю, что материшься… – Папа не договорил, погрозил сжатым в руке ремнём и вернулся к гостям, продолжать застолье.

Я сам себе поклялся – больше никогда! И держал клятву аж до третьего класса. Когда мне исполнилось десять лет, моя жизнь круто изменилась, но об этом потом…

Интересно, каким бы я стал, если бы этот комсомолец не поймал нас с Вовкой на месте преступления? Может быть, таким, как Гера? Разучил бы весь его лексикон, начал бы курить раньше, чем начал? Научился бы плевать через зубы, не заплёвывая грудь?.. В общем, выводы я тогда сделал. Правда, не на всю оставшуюся жизнь. Но таким, как Гера, не стал.

А вот ещё что интересно! Сделал бы я эти выводы, если бы точно знал, как знаю это сейчас, что мой папа к утру напрочь забудет об инциденте? Наверное, нет. Если бы я это знал, я бы не был я – наивный семилетний пацан, бабушкин любимчик, которому в будущем всегда придётся учиться на собственных ошибках, а не на ошибках других, как это делал… по-моему, Бисмарк. Я не умел приспосабливаться. Впрочем, так и не научился. В детстве верил бабушке, родителям и учителям, не подвергал сомнениям их слова и поучения. Позже стал верить сначала газете «Пионерская правда», потом «Комсомольская правда», потом просто «Правда». Верил, что коммунизм – светлая мечта человечества, которую именно мне надо сделать былью. Тщательно готовясь к школьным политинформациям, свято верил, что Израиль – агрессор, что всё население Африки поголовно голодает, а негров в США до такой степени замордовали проклятые американцы, что они спят и видят, как бы сбежать в Советский Союз. Позже, неся службу за рубежом моей родины в Центральной Группе Войск, верил, что выполняю свой интернациональный долг, что тем самым спасаю дружескую Чехословакию от натовских поползновений. Свято верил в это и не считал себя оккупантом. Верил также, что Солженицын – клеветник и капиталистический наймит. Что стремиться к материальному благополучию гнусно, пошло и даже преступно. Верил, что, правда – это то, во что я верил. Верил… Господи! В какую ерунду я верил! Долго верил. Во что-то и сейчас верю.

Так. Не обо всём сразу. Решил начать с детства, буду вспоминать детство.

Серафима…

Почему-то не с неё я начал свои воспоминания. Наверное, потому, что встретился с ней не в семь лет, а в десять. Чтобы хронологию не нарушать? Наверное… И, наверное, это неправильно.

Серафима… Воспоминания о ней – самые светлые, и, одновременно – самые грустные в моей памяти…

Итак, когда мне исполнилось десять лет, моя жизнь круто изменилась. Родители развелись. Я остался с отцом. Был суд, который я помню смутно. Помню только тётку, которая пришла в наш дом. Саму тётку не помню, совершенно не помню, как она выглядела. Я тогда ещё «тётками» не интересовался. Одета она была в чёрное, вот это помню. Она меня спросила, с кем я хочу быть – с мамой или с папой. Я ответил очень конкретно: с бабушкой. Нет, настаивала тётка, с мамой или с папой? Я посмотрел на бабушку и твёрдо сказал: с папой.

Я остался с отцом потому, что хотел оставаться с бабушкой, с папиной мамой. У меня просто не было иного выбора. Маме я не особенно был нужен. Она потом постоянно уверяла меня в обратном, но я всегда знал, что маму больше заботит её личная жизнь и нравятся другие дяди. Я это знал. Мне, конечно, и бабушка кое-чего говорила про маму и про то, что с мамой мне будет плохо, но я точно могу сказать – про маму я знал сам. Тому причиной была моя природная наблюдательность и рассуждения о жизни видавшего виды Геры и более сообразительного моего друга Вовки Лукина. Папа тоже был мне не особенно дорог. Если у мамы на уме (и не только на уме) были другие дяди, то у папы – работа, работа и работа. Одна работа… Ха! Как вскоре выяснилось, не одна работа была на уме у моего папы.

Собственно говоря, всё своё детство, отрочество и юность я прожил с бабушкой. Папе на работе дали другую квартиру, и мы переехали на Ботанический жилмассив. И стали жить втроём – папа, бабушка и я. Это только так называется – стали жить втроём. На самом деле мы жили вдвоём с бабушкой. Папа часто ездил в командировки. Именно в тот период у него было особенно много командировок. Он буквально не вылезал из командировок. А потом… Папе в ту пору было тридцать пять лет. Теперь-то я его понимаю. А тогда не понимал, не желал понять. Он вообще перестал появляться в нашей квартире. А как-то раз пришёл не один, и сказал нам с бабушкой, что женился, а это его новая жена Софья Аркадьевна. Мне было разрешено называть её тётей Соней.

Новая жена отца мне не понравилась с первого взгляда. Мама была светлой, натуральной блондинкой. Я такой светлый в маму (правда, сейчас я стал ещё светлее – поседел). И глаза у меня голубые, мамины. А тётя Соня – чёрная, как цыганка. Глаза навыкат, чёрные, похожие на сливы. И очень уж она широкая была. Ну, просто очень…

Как уже сказал, тётя Соня не понравилась мне сразу. И бабушке она не понравилась. Проводив папу и тётю Соню, бабушка сказала тихо, самой себе: «Надо же, жидовку Вася взял…». Я не знал, кто такая жидовка, жидами мы с пацанами называли воробьёв, но понял, что новая папина жена бабушке не понравилась. За все последующие годы симпатии у меня к мачехе, а у бабушки к снохе, не прибавилось. Впрочем, нас Софья Аркадьевна тоже не особенно жаловала. У неё был мой папа и ещё своя собственная дочь, родная.

Слава богу, жить все вместе мы не стали. У тёти Сони был дом. Я там бывал позже, раз пять или шесть. Ветхий насыпной барачок на улице Ломоносова (во времена моего детства тот район представлял собой деревню) – я бы в таком жить не хотел. А папа стал жить в этом доме. Инженер по образованию и интеллигент по воспитанию и образу жизни, до тёти Сони ему пришлось капать землю, таскать мешки с углём и картошкой, вообще – что-то постоянно таскать на загривке. Может быть, это и свело его рано в могилу? А может, у нас это наследственное? Мой дед тоже молодым умер. Правда, он сильно израненным с войны пришёл… Я деда никогда не видал, только слышал бабушкины рассказы и видел его ордена и медали. Бабушка хранила их в коробочке с ватой на дне, а коробочку держала в сундуке. Куда потом, после смерти

бабушки, девалась эта коробочка, не знаю. Наверное, папа забрал её себе ещё раньше. Почему-то я никогда его про ту коробочку не спрашивал. И не видел её больше никогда.

Итак, в десять лет я оказался один – без друзей (все мои старые друзья остались там, откуда я уехал), без родителей (они каждый жили своей жизнью), в другом районе города (в самом что ни есть хулиганском), в другой квартире (в сыроватой двухкомнатной хрущёвке после светлой полногабаритной трёхкомнатной), и числа десятого сентября пошёл в другую школу. Школа мне не понравилась.

С пацанами, учениками из моего класса, я сошёлся быстро. Но это случилось на перемене. А посадили меня за одну парту с девчонкой, с ней с первой я и познакомился.

– Тебя как зовут? – спросил я её.

– Сима, – прошептала она.

– Чего ты там пищишь? – грубо сказал я, потому что не расслышал, и потому что в моём детстве общаться с девчонками иначе было не принято.

– Меня зовут Серафимой, – сказала она чуть громче. – А тихо я говорю, потому что урок идёт.

– Ты, наверное, отличница?

– Да, я учусь хорошо.

– А меня Женькой зовут. Списывать будешь давать?

Сима дёрнула плечиком, поджала губки, сложила ручки, как примерная ученица и стала слушать урок. Я внимательно на неё посмотрел и подумал: «Подумаешь… Пигалица! Сикарашка какая-то. К тому же черномазая, как цыганка. Как тётя Соня…»

После перемены у меня появились новые друзья – Серёга Косовыев, Вовка Уваренцев, Борька Тубаров и Юрка Соломкин. Вообще-то все ученики моего нового класса стали моими новыми друзьями, но эти четверо – в особенности. С Борькой Тубаровым мы не прекращаем встречаться и по сей день… Вообще-то вру, преувеличиваю. Не виделись мы с Борькой уже давно, с самого Нового года. А уже май, скоро пять месяцев будет со дня нашей последней встречи. Борька даже не знает, что я того… Надо позвонить, пусть хоть на похороны придёт. Может, потом и на могилу приходить станет. Хотя, какая мне разница?..

Парты в классе были все укомплектованы учениками, свободных мест не было, да и пересаживаться с места на место нельзя было – в те годы самовольные пересаживания не приветствовались учителями. Мы так и остались сидеть с Серафимой за одной партой. И просидели, практически не замечая друг друга, до седьмого класса. Ну, не то чтобы совсем не замечая, демонстративно. Нет. Не дружили мы с ней просто, да и всё. Для меня Сима была не хуже и не лучше других девчонок.

А к концу седьмого класса я в Симу влюбился. Да как! Втрескался! Может, время подошло? Все влюбляются в тринадцать-четырнадцать лет. А в кого ещё мне было влюбляться, как не в соседку по парте, с которой просидел рядом целых три… да нет, почти четыре года?

Сидели, как сейчас помню, на химии. Симу вызвали к доске. Она химию любила и знала отлично. Когда Сима отвечала, весь класс переставал разговаривать и слушал её внимательней, чем учителя химии Сергея Прокопьевича Иванова, Прокопыча. Сима стояла у таблицы Менделеева с указкой в руке и была такой… в общем, я вдруг увидел её другой. Как пишется в книгах, я неожиданно прозрел. И увидел красоту Серафимы. Луч весеннего солнца запутался в её каштановых волосах и от этого они казались искрящимися и засветились, словно костёр запылал на голове. А смуглое лицо от свечения, исходящего от этого костра, не то чтобы посветлело, а стало таким живым и, одновременно – совершенно нереальным. Это я сейчас так красиво описываю, употребляя слова, которых не говорил в четырнадцатилетнем возрасте. Я тогда сидел, как истукан и думал: «Ни фига себе! Симка-то, оказывается… красивая». Она случайно остановила свой взгляд на мне, увидела что-то в моих глазах и вспыхнула, словно хотела совсем сгореть. Кое-как закончив ответ (ей повезло, Прокопыч не стал дослушивать до

конца, отпустил, поставив в журнал очередную пятёрку), Сима вернулась за парту и сидела вся какая-то напряжённая. Я был напряжён не меньше её, но всё-таки смог выдавить из себя:

– Пойдём сегодня в кино после химии?

– Пойдём, – как всегда тихо ответила она, – все же идут.

– Нет, не со всеми.

Сегодня в ДК имени Кирова шли «Сыновья Большой Медведицы». Мы любили фильмы про индейцев. Мы тогда ещё не знали, что такие фильмы называются вестернами. Мы переживали и болели за индейцев и люто ненавидели шерифа. И очень хотели, чтобы индейский томагавк расколол его башку.

Ещё на первой перемене мы всем классом решили идти на этот фильм. Химия была последним уроком.

Сима удивлённо на меня посмотрела:

– Как это не со всеми?

– Вдвоём.

– Как это? Все же идут. Как мы…

– А мы не в ДК Кирова, мы в «Победу» поедем.

Услышать ответ Серафимы мне не дал Прокопыч, он вызвал меня к доске. Я вышел и стал лепетать что-то несусветное. Я смотрел на Симу, а она смотрела на меня, и краснела. Я не понимал от чего – от того, что ей было за меня стыдно, за то, что я несу полную чушь, или отчего-то другого?

– Садись, Игнатов, – вздохнул Прокопыч. – Извини уж, но тройку, даже с минусом, я тебе поставить не могу. Двойка. Иди и учи. И бери пример со своей соседки. Чтобы химию понимать, её любить надо. Как Серафима Оленина её любит.

Химию я так и не смог полюбить, а вот с Симой мы в тот день всё-таки поехали в «Победу». Билетов купить не смогли. Ни в большой, ни в малый зал. Они были, но только на вечерние сеансы, а Сима сказала, что это слишком поздно, ей к восьми домой надо. Сима даже расстроилась, а я совершенно не расстроился. Чёрт с ними с билетами! Мы гуляли по Первомайскому скверу и ели мороженное в кафе – в пристройке к старому дому.

– Ты когда школу закончишь, куда поступать будешь? – спросил я её, – на химический?

– Почему?

– Ты ведь химию любишь.

– Люблю. Но кроме химии я ботанику люблю, биологию, природоведение. У меня знаешь, сколько дома цветов разных? Мне их папа из экспедиций привозит, а я развожу. Кое-что приживается, что-то нет… Так что насчёт института я ещё не решила…

Ну конечно! Кто в четырнадцать лет определился – кем хочет стать? Я, например, совершенно не знал, чего хочу. Это обычно позже приходит, когда последний школьный звонок практически уже зазвенел. А иногда и вовсе не приходит. Либо родители говорят: будешь поступать туда-то. Либо приятель твой с ВУЗом определился, а ты с ним за компанию. Либо… всё равно куда, лишь бы не в армию. Ко мне знание того, кем я хочу стать, так и не пришло. И в армию идти я сам решил. Послужу, думал, потом определяться буду.

– …Я ещё не решила. Может, как папа буду.

– А кто у тебя папа?

– Вулканолог.

– А это что за профессия такая? Колёса что ли вулканизирует? – я захихикал, как идиот.

Идиотом-то я не был, я прекрасно знал, что это за профессия – вулканолог. А спросил глупость и захихикал, потому что вдруг вспомнил увиденную недавно вывеску над мастерской, в которой осуществляли вулканизацию резинотехнических изделий. Там слово «вулканизация» было написано очень своеобразно. Слева – «вулкан» (снизу вверх), в самом верху крупно горизонтально – «ИЗ», а справа (сверху вниз, но не как продолжение слова, не так, словно

надпись переламывается, а как бы отдельно от всего) – «ация». Над буквой «и» в слове «ация» кто-то поставил чёрточку, получилась «й». Посредине было нарисовано колесо и пар над ним. Не нужно иметь богатое воображение, чтобы прочитать: «Вулкан из яйца». Даже наоборот – разобрать, что на вывеске написано «Вулканизация», для этого нужно обладать неслабым воображением.

Вспомнил, стало смешно, я и рассмеялся. И глупость сморозил. А Серафима обиделась.

– Дурак, – спокойно сказала она, слишком уж спокойно. И слегка побледнела. Сима всегда бледнела, когда сердилась. – Вулканолог – это человек, занимающийся изучением деятельности вулканов.

– Сим, извини, – стал оправдываться я, – я знаю, кто такие вулканологи. Прости. Я тут просто недавно одну вывеску увидел…

И, чтобы реабилитироваться в глазах возлюбленной, я тут же принялся рассказывать Симе о вывеске над мастерской. Потом взял из папки карандаш и нарисовал на последней страничке тетради по химии эту смешную надпись. Мы вместе с Симой посмеялись. Слава богу, мне удалось её рассмешить и мы не поссорились в день нашего первого свидания.

2. Пятьдесят девять

Что-то сегодня совсем раскис. Прямо с самого утра делать ничего не хочется. Может, непогода так на меня действует? Май на подходе, а хмуро, как осенью. Даже встать, чтобы кофе сварить – лень. Жить лень… Но надо. Ещё не всё перевспоминал. Поживу чуток. Чтобы вспомнить.

А вообще… кому они нужны, мои воспоминания?

Мне нужны. Сам задал вопрос и сам же на него ответил.

А почему мне нужны мои воспоминания, я не знаю. И знать не хочу. Просто чувствую, что мне надо всё вспомнить. Если смерть придёт, а я не успею довспоминать до конца свою жизнь, мне, наверное, будет обидно…

Ха! Обидно. Мне уже всё равно будет, так как меня самого не будет.

И всё-таки я должен вспомнить всё. Ладно, полежу ещё немного и сварю себе кофе. Полежу… повспоминаю.

Серафима…

Я представил Симу такой, которой она была в четырнадцать лет – юной, свежей, обалденно очаровательной в этой юности и свежести. Пахло от неё какими-то неизвестными духами. Нет, не духи это были, в те далёкие времена четырнадцатилетние девчонки не пользовались ни духами, ни тушью, ни помадой. Это был запах цветов и деревьев, которые она держала у себя дома в горшочках. Запах жизни…

Неожиданно мои воспоминания были прерваны звуком открываемой двери. Это Егор пришёл, у него ключ от моей квартиры.

– Евгений Васи-ли-ич, – услышал я его голос. Я не отозвался – сам войдёт и увидит, что я ещё жив.

Егор что-то долго возился в прихожей, ботинки, наверное, снимал. Он всегда ходил в ботинках с высокими бёрцами и со шнуровкой чуть не до самого колена. Не всегда, а когда на улице грязь. А сегодня, как и вчера и позавчера, на улице грязь. Дождь идёт третий день.

– Дядь Жень! – голос тревожный.

– Да живой я, живой, – ворчливо откликнулся я.

– Привет, дядь Жень! – сказал Егор, входя в спальню.

Я невольно улыбнулся – такая жизнерадостность была на лице парня. Улыбнулся, но улыбку спрятал. Я не расстроился, не позавидовал. Каждому своё – кому-то жить, кому-то умирать. Когда-то и мне было двадцать, и смерть казалась выдумкой.

– Ты почему не в институте? – строго спросил я.

Егор учился на четвёртом курсе медицинского института. Или как сейчас по-новому – Медицинской Академии?

– А я уже на сегодня отучился.

– Как это?

– Дядь Жень, – укоризненно произнёс Егор, – ты что это, мою посещаемость контролировать собрался?

– Почему бы и нет? – вопросом на вопрос ответил я. – Я же тебя нанял для оказания медицинской помощи. Мне совершенно не надо, чтобы меня какой-то неуч пользовал.

– Во-первых, – начал Егор, – чтобы внутримышечно делать инъекции витаминов, особой квалификации не требуется. С этим любая медсестра со средним медицинским справится. Во-вторых, нанял ты меня не для оказания медицинских услуг. Витаминный курс я тебе сам предложил пройти, ты согласился. А так – я в основном за продуктами бегаю, еду готовлю. И так,

по мелочи. А в-третьих… Может, тебе мою зачётку показать? Там всё тип-топ. Успеваемость присутствует.

– Принеси-ка мне из гостиной пачку сигарет и зажигалку. И пепельницу. Всё там – на журнальном столике.

– Прям в кровати курить будешь?

– Я всю жизнь курил там, где хотел. И в спальне, и на кухне, и в сортире.

– Натощак!

– И натощак в особенности.

– Давай я хоть кофе тебе сварю, – предложил Егор, и, не дожидаясь ответа, ушёл на кухню.

Я тяжко вздохнул, изображая неизвестно для кого возмущение беспардонностью своего опекуна, а в душе одобрительно подумал: «Хороший врач из Егора получится. Умеет с капризными больными общаться. И ведь слушаешься его! А уколы Егор ставит – не почувствуешь».

Кряхтя, я поднялся с постели, подхватил пижаму, висевшую на спинке стула, и пошёл в ванную. Постоял возле зеркала, раздумывая – бриться или ну её на фиг? Решил не бриться, лень. В зеркале отражался бледный седой болезненно тощий старик с глазами уже неопределённого цвета, провалившимися в глазницы. В глазах была какая-то тоска. М-м-да, краше в гроб кладут. Я ещё раз посмотрел в свои глаза и различил всё-таки голубой цвет. И не тоска это вовсе, обманул я себя, это мудрость. Чтобы обман не открылся, отвернулся от зеркала и включил воду. Умылся, почистил зубы, с грехом пополам натянул пижаму, и, уцепившись волей за плотные ручейки запахов, тянувшиеся из кухни, пошёл пить кофе. Кроме кофе, на столе стояла тарелка с двумя бутербродами – один с докторской колбасой, другой с сыром.

– Насчёт бутербродов уговору не было, – сказал я Егору.

Егор не ответил, только хмыкнул. Наверное, хотел напомнить, что и по поводу кофе не было уговора.

Я выпил большую чашку кофе и осилил половину бутерброда с сыром. Больше не хотелось.

– Убери в контейнер и поставь в холодильник, – сказал я. – Позже захочу, съем.

Егор посмотрел на меня внимательно, и спорить не стал.

– Я сегодня весь день свободен, – сказал он, с задумчивым видом изучая содержимое «Шарпа», определяя – чего там в достатке, а чего надо подкупить. – Сейчас сгоняю в супермаркет. Куплю всё, что надо для борща. Ты как насчёт борща, дядь Жень?

– Нормально. Сигарет ещё купи. Вот что – купи блок сразу. И дай мне, наконец, сигарету! Сколько можно тебя упрашивать?

Я с наслаждением закурил свою первую за сегодняшнее утро сигарету и подумал: «А была бы она мне так же приятна, не попей я кофе?».

Егор ушёл в супермаркет за ингредиентами обещанного борща, а я переместился в гостиную на диван. Заниматься воспоминаниями, когда тебя постоянно кто-нибудь или что-нибудь отвлекает, пустое дело. И не вспомнишь ничего толком, и раствориться в воспоминаниях не сможешь. А вспоминать и не растворяться – это душевная мастурбация. Дёргаешься, гоняешь туда-сюда обрывки мыслей и постоянно помнишь: ты здесь, ты никуда не делся, шкура твоя, потраченная, как молью, людьми и обстоятельствами, на тебе. Её не сбросить, как лягушечью кожу. Она – ты сам и есть. Погрузиться же в воспоминания полностью, раствориться в них – значит, прожить всё заново.

Я взял пульт от телевизора и потыкал по каналам. Тягомотина сплошная. Сериал какой-то, говорят не по-русски, а дублирует молодую кудрявую девушку (по всем признакам – латиноамериканку) явно пожилая тётка с противной визгливостью в голосе. Дальше – блок новостей, повтор. Знаю всё уже, ничего нового. Дальше. Опять сериал. Про американских врачей. Что-то не хочется про врачей… Следующий канал. Петросян. Показывают зрительский зал. Все

смеются, да как! Просто ржут. Над чем смеётесь, товарищи?.. ТНТ – «Дом-2». Вот что вечно. Я умру, а «Дом-2» будет продолжаться. А потом будет «Дом-3»… Так, следующий канал. Снова Петросян?! О господи, он на всех каналах, что ли?

Раздражённо отбросил от себя пульт и откинулся на подушки. Чем заняться? Может взять да и позвонить Борьке Тубарову? А что, это идея! Посидим, повспоминаем свои школьные годы. Я уже было взялся за трубку, но вдруг представил себе, какое впечатление я своим видом произведу на круглолицего и румяного, пышущего здоровьем и совершенно не поседевшего к пятидесяти трём годам друга, и моя рука зависла над аппаратом. Незачем. Незачем расстраивать Борьку. Позвоню, но позже. Просто, чтобы знал. Хорошо бы просто позвонить, а у Борьки вдруг – важные дела. И отложим встречу ещё на полгода. Или ещё лучше – попрошу Егора, пусть позвонит Борису, когда всё закончится.

И я подумал ещё об одной причине, по которой не хотел видеться с Борькой. Мне некогда. Даже не так – мне надо вспоминать и вспоминать одному. Это мои воспоминания. Мои и ничьи больше. Пусть Борька будет частью этих воспоминаний, но пусть он не будет их активной частью. Не хочу, чтобы в мои воспоминания вмешивались чьи-то ещё. Я помню то, что помню я, и так, как я это помню. Чужое мнение и чужая трактовка событий мне не нужны.

Я снова взял пульт и снова пробежался по программам. То же самое – тот же неумолкающий, бессменный, и, по-видимому, бессмертный Петросян, те же бесконечные сериалы и те же свежие старые новости. Может, почитать что?

Вернулся из магазина Егор. Опять долго разувался.

– Егор, всё хотел тебя спросить…

– Что, дядь Жень?

– Ты почему всё время эти свои тяжелющие говнодавы носишь? Дороги как память?

– Старые туфли вышли из состояния пригодности для носки в осенне-весенний период, – честно признался Егор, – а на новые я ещё не заработал. Вот получу от тебя зарплату за апрель и сразу куплю.

Егорке нелегко приходилось жить. Одна мама-пенсионерка. На её пенсию, да на стипендию студента-сына не пожируешь. Учится Егор и подрабатывает. А ведь молодой парень! Ему и девушку в кафешку сводить хочется, и с приятелями пивка попить. Девушка-то есть у него? Ни разу не спрашивал. Знаю его с детства (с Егорова детства естественно), а вот ни разу не спросил. Да наверняка есть…

– Я тебе премию решил выдать, – сказал я. – Целевую. Конкретно на туфли. Достань-ка из бара мой бумажник.

– Да что, не надо, дядь Жень, – запротестовал Егор. – Подумаешь ещё, что я у тебя деньги вымогаю, на жалость давлю. Я к этим бёрцам привык, и что тяжёлые они, не замечаю. А туфли к лету я со степухи куплю.

– Так! – грозно сказал я (получилось не очень грозно). – Я твой работодатель и сам решаю – выписать своему работнику премию или зарплату урезать. Неси кошелёк.

– Кошелёк, кошелёк… Какой кошелёк, – проворчал Егор, копируя Стаса Садальского, и сначала унёс пакеты на кухню, потом принёс мне бумажник.

Я дал ему двести долларов.

– Щедро! – покачал головой Егор.

– Бери. А за апрель твоя зарплата увеличивается ещё на сто долларов. Не спорь! И ещё… Подойди-ка снова к бару. – (Егор послушно вернулся к бару, открыл дверку). – Видишь, там пакет лежит? Белый, пухлый такой. Он запечатан. На верхней полке, видишь?

– Этот? – Егор показал мне конверт.

– Да. Там деньги. Три с половиной тысячи долларов. Когда я умру, возьмёшь его. Это на похороны, на памятник. Памятник дорогой не ставь, ни к чему это. Если что останется, себе возьмёшь. Понял?

– Понять-то я понял, дядь Жень, но ты это… не рано себя хоронишь?

– Да ладно, брось! Ты же врач уже почти. Понимать всё должен, что к чему. Да и сам видишь – состояние моего здоровья тенденции к улучшению не имеет. А лекарства от моей болезни ещё нет. Может, лет через десять-двенадцать изобретут. Может, ты и изобретёшь. Но у меня, увы, этих десяти-двенадцати лет нет. Малосмертов сказал, осталось девять с половиной недель. Вернее, уже восемь. А то и меньше. Так что, молодой человек, не вешайте мне лапшу на уши, не кобеньтесь и слушайте, что вам говорят.

– Я всё понял, дядь Жень. Выполню твоё завещание.

– Это не завещание, а просто наказ. А завещание тебе зачитают в положенное время. Думаю, тебе оно понравится. Эй, ты что это? – я увидел, что у Егора вдруг изменились глаза и задёргался подбородок.

– Всё нормально, – хрипло сказал он и отвернулся, чтобы я не увидел его слёз. Любит он меня, что ли?

– Егор, а у тебя почитать есть что-нибудь?

– Вообще-то у меня в основном медицинская литература. А что бы ты хотел почитать? Я схожу в книжный и куплю.

– Не знаю… Что-нибудь современное?

– Есть! – вдруг обрадовался Егор. – Есть книжонка. Недавно купил. В Академии была встреча с издательством нашим местным, забыл, как называется… Вспомнил! «Свиньин и сыновья». Там, на встрече, книги дёшево продавали, я и купил одну. Сейчас принесу.

Книга называлась «Там». На обложке были нарисованы человечки, вернее один, но с зеркальным отражением. Я прочёл фамилию автора – некто Царицын. Владимир Царицын. Никогда не слышал о таком. Фамилия звучная, и если бы слышал, запомнил бы. На обратной стороне обложки имелась справка об этом писателе. Ого! Год рождения тысяча девятьсот пятьдесят четвёртый. Так мы с ним одногодки! И родился он в Новосибирске. Ещё и земляки. И служил в ЦГВ, к тому же в те самые годы, что и я. Ни фига себе! И я там служил. Почему же я его не знаю? Наверняка и призывались вместе. Хотя не факт. Мой день рождения пятнадцатого июля, а его? Я вернулся к биографической справке – этот неизвестный писатель родился тринадцатого сентября. Весной он не мог призываться, не было ему ещё тогда восемнадцати, значит, как и я – осеннего призыва. А если мы с ним с одного призыва – значит, я его просто не запомнил. Да не мудрено! Все мы тогда были на «холодильнике» лысые, одинаковые, а если и знакомились друг с другом, то только по именам. Вовок было много и все на одно лицо. Развозили нас с «холодильника» в разное время и по разным сортировкам-накопителям. Кого в Воронеж, как меня, кого ещё куда. А оттуда – в разные части к месту службы.

Я внимательно рассмотрел фотографию. Очки, седая борода – под таким натуральным гримом кто угодно спрячется. Взгляд слегка насмешливый. Черты лица неправильные – нос чуть набок… Нет, не помню. Что, впрочем, вполне естественно – тридцать пять лет прошло. Конечно, он изменился до неузнаваемости за эти годы, но что-то знакомое всё же должно проскользнуть. Нет. Совершенно не помню. Хотя… ведь этот Царицын мог призываться и не из Новосибирска.

Под справкой и фотографией был напечатан отрывок из текста:

> *– Андрюха! Мне нужно туда. Мне нужно домой. Я не боюсь этой чёртовой бесконечности, я боюсь оставлять их одних.*
>
> *– Придётся, – спокойно возразил Андрей. – Мы не в силах изменить то, что от нас не зависит.*
>
> *– А от кого? От кого это зависит? От Бога? От Дьявола?*
>
> *Андрюха встал и отряхнул с одежды прилипший песок.*
>
> *– Не знаю, – сказал он. – Я здесь уже десять лет, как ты знаешь, но так ничего и не понял. И ты не поймёшь… наверное. Пошли.*

– Куда?

– Пока вперёд, а потом что-нибудь придумаем. Времени здесь нет, а потому у нас его целая вечность.

Интересно… А что это за место такое, где нет времени? По-моему это о чём-то потустороннем. Ну что ж, почитаю. Подобная тема как раз в тему, мысленно скаламбурил я.

Пока Егор варил борщ, я проглотил книжку целиком. Она была совсем небольшая – карманного формата и нетолстая. Всего в книге семь рассказов. Рассказ, выдержка из которого была на задней обложке, назывался так же, как и книга – «Там». В нём человек умер и оказался на том свете. И встретился с умершим десять лет назад другом. Увлекательно написано, ничего не скажешь. Увлекательно и настолько правдоподобно, что я поверил: на том свете так, как написано в рассказе. Нечего бояться смерти.

Впрочем, я и не боюсь. Более того, хочу поскорей умереть.

Доктор Малосмертов сказал мне как-то:

– Вы, Евгений Васильевич, безнадёжны. У вас нет возможности выздороветь. И не потому, что лекарства от вашей болезни нет, вернее, не только поэтому. Вы, уважаемый Евгений Васильевич жить не хотите.

Что ему возразить? Он прав. Я не хочу жить.

Герой рассказа встретился на том свете со своим другом. А с кем встречусь я? С Серафимой. Я уверен, что встречусь с ней.

– Дядь Жень! – позвал Егор. – Отрывай свою задницу от дивана, борщ готов. И котлет я нажарил. А на гарнир гречка.

– Гречку не буду, – капризно проворчал я, – обрыдла.

– Я картошки ещё начистил, но не сварил. Думал, ты гречки поешь, а картошку на ужин. Поставить картошку варить?

– Не надо. Я котлетку без гарнира съем. И вообще, есть я не хочу.

– Надо. Вставай, я борща уже налил. Тебе сметаны положить?

– Клади, – вздохнул я обречённо.

Мы пообедали вдвоём. Борщ удался. А котлета в горло не полезла, хотя я не сомневался, что она вкусная. Всё, что готовил мне Егор, было вкусным.

– Я тебе всего много наготовил, дядь Жень. Завтра у меня денёк напряжённый намечается. Ты не будешь возражать, если завтра я не приду к тебе?

– Не буду.

– У меня, понимаешь, в Академии…

– Стоп! – прервал я объяснения Егора. – Я сказал, что не буду возражать против предоставления тебе отгула. А по поводу твоей Академии мы утром всё решили. Ты же меня сам упрекал, что я, видишь ли, собираюсь контролировать твою посещаемость и успеваемость, а тебе это, видишь ли, не нравится. Кроме того, – я повысил голос, заметив, что Егор желает оправдаться или возразить, – меня всё равно завтра весь день не будет дома.

– В гости, что ль собрался, дядь Жень?

– Малосмертов звонил. Возникло у него желание в очередной раз меня малость помучить. Какие-то анализы, УЗИ, рентген… экзекуции, одним словом. Он с утра за мной заедет и, это, скорей всего, на весь день.

– Тебе это надо, дядь Жень? В твоём-то состоянии.

Я пожал плечами:

– Послужу науке, а что? И не такое уж плохое моё состояние.

– Хороший ты мужик, дядя Женя. Добрый.

– Ну, это как сказать… Слушай Егор, а у тебя девушка есть?

– А почему ты спросил?.. Есть.

– Как зовут?

– Наташка.

– Где-то рядом живёт здесь? Учитесь вместе?

– Нет, живёт она на Затулинке, а учится в театральном. Уже заканчивает. А ты почему спросил-то?

– Да так. Просто… Ну вы с ней… встречаетесь же?

– Гы-гы-гы, – заржал Егор, – встречаемся. Когда время есть. И место для встреч.

– Да я не в том смысле, – смутился я.

– А в каком?

– Девушки любят, когда им цветы дарят, мороженным угощают. То-сё, пятое-десятое.

– Ну и…

– Расходы в этом деле неизбежны. Тащи-ка снова мой бумажник.

– Не надо. – Егор решительно положил свою руку с длинными пальцами хирурга на мою иссохшую старческую лапку. – Не надо, дядь Жень. Ты мне на туфли и так много дал. Мы с Наташкой сегодня пойдём в обувной и купим мне туфли. А на сдачу – и на цветы и на мороженое останется. И маме тортик куплю, йогуртовый, она такой любит. Спасибо тебе, дядь Жень.

– Сейчас к Наташке поедешь?

– Поеду.

– Ну, давай беги. – Я поощрил его уход взмахом руки. – Посуду сам помою, в состоянии. Кое-чего ещё могу. И продукты в холодильник сам уберу. Беги к своей Наташке. Беги, беги… И будь счастлив, – добавил я тихо, когда Егор ушёл в прихожую натягивать свои говнодавы. И зачем-то нарисовал в воздухе крест. Я не был уверен, что нарисовал его правильно. Жизнь прожил, а не знаю – горизонталь слева направо надо проводить или справа налево.

С церковью у меня не сложилось. Совершенно не сложилось. Может, виной тому – время, в которое я жил, и атеистические убеждения родителей? Папа был коммунистом, ему по статусу в бога верить не положено было, но и беспартийная мама в церковь никогда не ходила, а если учитывать её далеко не ангельский характер и абсолютно не безгрешный образ жизни, то можно понять, что она так же была далека от бога, как и коммунист папа. Позже, когда мама состарилась, она ни с того ни с сего возомнила себя глубоко верующей католичкой и стала посещать сначала временную деревянную католическую часовенку на улице Горького, а потом построенный рядом с ней костёл. Мама считала себя латышкой. Из Латвии родом был её отец, а мать, моя вторая бабушка, которую я практически не знал, была полячкой. Мама и меня, уже взрослого, зазывала с собой, говорила, что я только наполовину русский, что корни мои в цивилизованной Европе, и что я просто обязан ходить в костёл. Но я только согласно кивал головой (как-нибудь потом, позже…) и внутренне усмехался. Ну, какой я европеец? Какой я, к чертям собачьим, католик? Я и не католик и не православный, я атеист. И азиат. Родился и всю жизнь, почти безвылазно, прожил в Новосибирске.

В костёле мне всё-таки довелось побывать. Два раза. Когда мама умерла, я, выполняя её завет, пришёл в костёл и договорился с пастором о мессе по усопшей. А потом пришёл эту мессу выслушать. Сидел на дубовой скамье, слушал и ничего не ощущал – никакого душевного трепета и никакой благостности. Сидел и украдкой озирался по сторонам, удивляясь богатству, и, одновременно – скромности и лаконичности внутреннего убранства католического храма.

Бабушка, та бабушка, с которой я прожил всё детство и всю юность, Анна Ивановна, папина мама, была истинно верующей. Соблюдала посты и отмечала божественные праздники. И я с ней отмечал, очень любил пасху – из-за крашеных яиц и всей остальной вкуснятины. Собственно говоря, на рождество вкуснятины было ещё больше, но рождество зимой, а пасха весной, когда ярко светит солнышко. Мы пацанами бегали по весенним лужам и кричали во все глотки каждому встречному: «Христос воскрес!», совершенно не представляя себе, что эти слова означают. Но ответ: «Воистину воскрес» мы должны были услышать обязательно,

стояли и ждали, когда нам ответят. Бабушка ходила в церковь, но не часто, ноги у неё больные были. На пасху святить куличи она ходила всегда. А икон у нас в доме не было, и в истинную веру бабушка меня обращать не пыталась. Теперь я понимаю – боялась мне навредить. Как-никак мы жили в эпоху «развит*о*го социализма»…

Помню, в шестом классе зашли с пацанами и девчонками в Вознесенскую церковь. Просто так, как бы на экскурсию. На несанкционированную никем экскурсию. Вообще-то мы пошли в цирк, отучившись в первую смену, а потом передумали – решили погулять по Нарымскому скверу, и сдуру зашли в храм. Никто там не пел, попа не было – только иконы, кресты, полумрак, свечи. Много свечей, но всё равно – полумрак. И старухи на коленках. В чёрном, в чёрных платках. Крестятся, тыкаются головами в пол. И глаза у них какие-то… мёртвые. Мне стало не по себе и захотелось уйти. Ребята, которые были со мной, стали рассматривать иконы, делиться впечатлениями. Разговаривали громко, не так, как принято разговаривать в храме. Я думаю, им тоже было не по себе, и чтобы как-то скрыть растерянность, они и говорили громко. Некоторые смеялись, но не весело, а как-то нервно. Старухи смотрели на нас осуждающе, но ничего не говорили, продолжали молиться. Я вышел, унося в душе холодный комок непонимания себя и своих ощущений.

У кованых ворот стояла Серафима, в храм она не заходила.

Мы с Серафимой ещё не были никем. К тому моменту я ещё не прозрел.

– Ты что тут стоишь? – спросил я.

– Вас жду.

– А что не зашла?

– Мне нельзя, я не православная.

– А кто ты?

– Никто.

– Я тоже неверующий, – сказал я. Слова «неверующий» и «православный» были для меня тогда синонимами. – Я же зашёл.

– И как?

– Да никак! – излишне бодро ответил я.

Серафима посмотрела на меня внимательно и пожала плечиками. Она поняла, что я вру.

– А ты крещёный?

– Нет, – снова соврал я. И добавил гордо: – Я – нехристь!

На самом деле я был крещёным. Только один раз моя бабушка продемонстрировала отцу свою волю и окрестила меня. Я тогда ещё маленьким был.

– Нехристь – это другое, – заметила Серафима.

– А что?

– Я не знаю, но другое.

– А не знаешь, так и не говори.

Позже я узнал, что «нехристь» означает – не христианин, что бабушка и дедушка у Серафимы – татары и мусульмане, стало быть – нехристи. Мама у Симы тоже была татаркой, но без религиозной зависимости, а папа русский. У Серафимы были не такие чёрные волосы, как у её мамы, и она не была такой скуластой – сыграли роль папины гены. И глаза у Симы были не такие уж и раскосые, вполне обычные русские глаза, только карие. Светло-карие. А вот смуглый цвет лица у Серафимы – от татарских кровей. От них же, наверное, а может и не от кровей вовсе, не от генов, а от порядков, царивших в семье Олениных – нежелание заходить в православную церковь. Была ли сама Серафима мусульманкой? Я у неё так и не спросил – ни тогда в детстве, ни потом – ни разу за все почти шестнадцать лет нашей странной совместной жизни.

А начали мы эту странную и необычную, наверное, для многих, а главное – для меня самого – совместную жизнь, когда нам уже шёл четвёртый десяток, и, казалось бы – зачем нам подобные эксперименты?..

3. Пятьдесят семь

Ничего не вспоминал вчера. Почти ничего. Обрывки воспоминаний из разных лет в единое целое не связывались. Они вообще никак не были связаны, те, что вспоминались. Из кабинета в кабинет, из-под одного агрегата к другому – где тут нормально сосредоточится? Не располагает подобная обстановка к растворению в прошлом, давит настоящее, напоминает об отсутствии будущего.

Это я специально родил такую красивую мысленную фразу – «настоящее напоминает об отсутствии будущего». Я прекрасно представляю своё будущее, другими словами – я знаю, что его у меня нет. И совершенно спокоен по этому поводу. Так зачем я тогда придумал эти слова? В последнее время у меня появилась тяга к красивым фразам. К чему бы это? Хочу сделать красивыми свои воспоминания?.. А вообще – почему человек вдруг решает вспомнить? Не что-то конкретное, а всё, всю жизнь. Хотя что может быть конкретней конкретной жизни? Я недавно подумал (если быть точным – позавчера утром): «…я должен вспомнить всё». И не стал задуряться над вопросом: «Зачем?». Почему в какой-то момент человек решает вспомнить всё? Должно что-то произойти в его жизни. Какое-то серьёзное событие… Вот и ответил. Со мной произошла смерть. Не произошла ещё, но скоро произойдёт. Вот и решил я вспомнить всё.

Вчера в кабинете УЗИ пригляделся к молоденькому врачу. Мысленно я обозвал его «врачишкой», потому что он был уж совсем молодой и похож на мальчика из рекламного ролика, восхваляющего творожно-йогуртовую смесь. Врачишка-растишка. И вдруг вспомнил нашего батальонного военврача. Совершенно непонятная ассоциация. Наш военврач был совершенно другим – с лысинкой, постоянно спрятанной под фуражку и с небольшим, но круглым животиком. Звали его… капитан Красильников. Он был абсолютно непохож на этого врачишку-растишку. Старше и крупнее.

Помню, была инспекторская проверка. Нас гоняли, как хотели – по стадиону, на перекладине, по штурмовой полосе. Мы-то своё выполнили, нам не впервой – каждый день подобные упражнения под присмотром старшины делали, а раз в полгода сдавали нормативы и получали значки и лычки. Дошла очередь до офицерского состава. Прапор нас увёл в казармы, но сразу вернулся назад сдавать личный экзамен по физподготовке, объявив нам перекур. Мы, старики, с понтом пошли в туалет и по дороге завернули к ограде стадиона. Картина, которую мы имели счастье лицезреть, повергла нас в буйное ликование. Офицеры болтались на перекладинах, как висельники. Мало кто из них смог подтянуться положенные десять раз. Про подъём переворотом и выход силой вообще не было речи. Самый смех был с капитаном Красильниковым. Кто-то их ротных помог ему подпрыгнуть и ухватиться руками за перекладину. Дальше – всё. Капитан дёргался всем телом, но вверх ни на сантиметр подняться не мог. Висел, как сосиска, и дёргался. Мы с бойцами просто оборжались.

Всем офицерам был поставлен зачёт. Во всяком случае, так было объявлено на вечерней поверке.

Капитан Красильников был личностью своеобразной. Он считал, что Устав придуман исключительно для солдат – для рядовых, ефрейторов и сержантов. Офицеров, в частности, его самого, тяготы и лишения воинской службы касаться не должны. Спирт он пил регулярно, даже можно сказать, ежедневно. Когда в части проводились плановые прививки, ватка, смоченная в спирте, таковым не пахла. Скорее, она пахла ацетоном. Ну, понятно, зачем на солдат спирт переводить? В лазарете вместо больных бойцов постоянно находились какие-то чешские шлюхи. Интересно, как он умудрялся проводить их через КПП?.. Если какой-нибудь боец простужался, и у него поднималась температура, Красильников давал ему кулёк таблеток и бутылёк с раствором фурацилина полоскать горло. И звонил в роту старшине, говорил: «У

тебя в роте такой-то? Ты его в наряды денька три не ставь. А на занятия пусть ходит. Вэл?». И всё. Всё лечение. Выпроваживая бойца, Красильников говорил: «Иди солдат, неси службу. И не болей больше. Да! Бутылёк мне вернуть не забудь. Много вас…». Вообще-то солдаты редко болеют, но всё же случается, особенно после учений в зимний период. Тем не менее в лазарет Красильников никогда никого не определял. А куда определить, если там «курвички»? Курвички – чешское называние шлюх. Да, солдаты болеют редко. Вернее, раньше так было – новобранцев брали только крепких. Да и жизнь тогда молодёжь другую вела – не бухали, не обпивались пивом, не кололись и не нюхали всякую дрянь. Единственное, что действительно доставало нас в армии, так это грибок и фурункулы. Особенно фурункулы. Кстати, выдавливание чирьев приносило капитану Красильникову поистине садистское наслаждение. Он давил и поглядывал на корчившегося от боли бойца. И приговаривал: «Не ссы карбидом, не делай пыли. Терпи солдат, генералом будешь. Или капитаном, на худой конец. Ха-ха-ха!». Взгляд у него был в эти мгновения какой-то радостный и немного удивлённый.

Про Красильникова я вчера вспоминал, а сегодня вообще ничего. Пусто. В голове пусто. Что-то мне сегодня…

4. Пятьдесят три

Четверо суток провалялся в беспамятстве. В полубеспамятстве. Какое тут вспоминать? Ничего не ощущал. Помню, поел на следующий день после обследования в клинике, поел и тут же всё выблевал. Прилёг на диван, освежил в памяти вчерашние воспоминания, о врачишке-растишке подумал, о военврače капитане Красильникове. И провалился. Ненадолго очнулся – Егор передо мной. И Малосмертов. Вдвоём, что-то надо мной колдуют, пахнет спиртом, как никогда не пахло в военном лазарете. А где капитан Красильников?..

Потом опять пустота, короткие прозрения – то ли сон, то ли явь. Бред? Только сегодня утром стал понимать – кто я и что со мной. Видать, не рассчитал сил, соглашаясь на обследования. Всё, хватит. Больше в клинику – ни ногой! Только вперёд ногами – на вскрытие. Давайте, мужики, режьте меня, кромсайте, ищите место в моём трупе, где гнездилась болячка! И думайте, чем её там можно было загасить. Но только после моей смерти. А пока живой, не трогайте. Мне ещё самому… успеть всё вспомнить надо.

Малосмертов, наверное, подумал, когда я чуть было дуба не врезал, что его расчёты ошибочны, и никаких девяти с половиной недель у меня не было (кстати, уже семи с половиной!). Я бы тоже так подумал, если бы мог думать в течение прошедших четырёх суток, неодушевлённым предметом валяясь на двуспальной итальянской кровати. Четверо суток беспамятства прошли как мгновение. Как мгновение, резиновой тягучестью растянувшееся на четверо суток. Тьфу ты, чёрт! Зациклился на этих сутках… И на красивых фразах.

Умереть я готов, но не так. А что, и такой вариант ведь не исключён. Вот так и уйду, не осознавая, что ухожу. Не хочется так уходить…

Вот поэтому, наверное, я и вернулся. Вернулся и сразу понял: не умер, потому что не успел вспомнить всё.

Странно, очнулся и сразу вспомнил – что впал в беспамятство, что бредил… Сил нет совершенно, а голова ясная. Сколько же меня не было?.. Надо Егора спросить.

Егор ночевал на моём диване в гостиной. Видимо, он услышал, что я заворочался как пропеллер намертво заржавевшего вертолёта, или по дыханию определил, что я очнулся. А может быть, подошло время проверить умирающего работодателя?

Он зашёл в спальню и сразу увидел, что я адекватен.

– Ну, ты, дядь Жень дал!

– Дуба? Не дождётесь. Сигарету, живо!

На этот раз Егор со мною не спорил. Я закурил, сигарета в руке показалась бревном.

– Какое сегодня?

Егор ответил, я подсчитал. Четверо суток выпали из остатка – прямо скажу, не очень большого остатка – моей жизни. Я без особого веселья усмехнулся:

– Ну что, испортил тебе праздник старый пердун?

– А-а, – отмахнулся Егор и спросил: – Как ты? Давай-ка давление смерю.

– Нормально. Не надо мерить давление. Я себя хорошо чувствую. Голова в порядке, а это главное. Немного ослаб.

– Ну, до этого-то ты сильный был… Как насчёт поесть?

– Не хочу.

– А надо. Бульончику. Глюкоза капельно – это ведь не еда.

– Так вы с Малосмертовым меня глюкозкой кормили?

– А чем ещё?

– То-то я смотрю, во рту приторно, как от килограмма халвы.

Егор улыбнулся, оценив мою шутку, или сделал вид, что оценил. Подыграл старику. Конечно, шутка так себе – не самая лучшая из моих шуток.

– Я мигом, – сказал он и умчался на кухню.

Зашумела микроволновка. Через пару минут я припал губами к пиале с ароматным куриным бульоном. Странно, но я отметил его вкус. Оно и понятно – после сладкого…

– Сейчас всё нормально будет, – заверил я Егора. – Ты, наверное, из-за меня хвостов в институте нахватал, пока я тут умирающего из себя изображал?

– Да нет, в принципе… – Егор посмотрел на часы. – Но… Я сейчас в Академию сбегаю ненадолго, а, дядь Жень? Приду, нормальным обедом тебя накормлю. Борщ я сам доел, а тебе вчера вечером бульон из курицы сварил. Как знал, что сегодня ты очухаешься. Приду, заправлю. С вермишелью, ага?

– Давай, давай, беги. Я в порядке. Сейчас-то уж точно не сдохну. Давай, беги, кому сказал! Мне тут поразмыслить кой над чем надо, а ты мешаешь.

Не о том я думаю, не то вспоминаю, сказал я себе, когда Егор ушёл. Скопычусь – и не замечу. А о главном не вспомню. Вот на фиг, спрашивается, мне этот долбаный Красильников? Какой след он оставил в моей жизни? Шрам от фурункула на левом предплечье? Маленький белый шрамик, заросшая дырочка. Да хрен с ним, с этим шрамиком! Много шрамов и шрамиков у меня на теле, ещё больше – на душе. О каждой отметине вспоминать – никаких семи с половиной недель не хватит.

И всё-таки, решил я, буду вспоминать всё. И хорошее и плохое – всё. Из прожитой жизни нельзя выкидывать некондиционные куски, жизнь – не пьеса, а память человека – не отснятый на киноплёнку материал, который можно монтировать, как захочешь. Серафима занимает в моей памяти центральное место, но всё, что вокруг неё – обрамление бриллианта.

Когда я в первый раз поцеловал Серафиму…

Я едва не заржал (и заржал бы, если б сумел) когда возникла первая фраза воспоминаний. Получилось как у Нестора Петровича из «Большой перемены»: «когда я в первый раз поцеловал Полину…»

Когда я впервые поцеловал Серафиму, она сжала губы, но вырываться не стала.

– Ты не умеешь целоваться? – спросил я, оторвавшись от её твёрдых губ. Спросил, как удивился.

– Не умею. Никогда не целовалась. А ты?

– Я тоже не умею, – признался я.

– Я о другом спрашивала. Ты раньше целовался с кем-нибудь?

– Не-а, – ответил я. – Ты у меня первая.

Серафима глянула на меня снизу вверх и засмеялась.

– Ты что смеёшься? – спросил я, – не веришь?

– Почему? Верю. Просто смешно стало. Мы с тобой прямо как взрослые. Стоим, целуемся.

– Это называется – целуемся? А давай ещё раз попробуем? Только ты… – я замялся.

– Что?

– Губы разожми.

Сима воровато оглянулась по сторонам – мы стояли на аллее весенних клёнов Первомайского сквера – в поле видимости прохожих не наблюдалось. Убедившись, что нас никто не видит, Сима закрыла глаза и протянула мне свои мягкие расслабленные губы. Не помню уже точно, насколько хорошим был этот поцелуй, насколько он был правилен, но теперь мне кажется, что тот поцелуй был самым сладким в моей жизни. У меня заколотилось сердце, а душа наоборот, замерла.

Сейчас всё не так. Сейчас четырнадцатилетний парень и девушка, его сверстница, решив заняться любовью, ищут место и занимаются ею. Они вдоволь насмотрелись эротических и порнографических фильмов, начитались газет и журналов подобного толка и знают о сексе всё,

во всяком случае, гораздо больше нас, стариков. Они знают, как предохраняться от СПИДа и от нежелательной беременности, знают, что надо делать, чтобы получить самому и доставить партнёру максимальное удовольствие. Они знают многое. Мы, четырнадцатилетние конца шестидесятых годов, не знали про *это* ничего. У меня даже не возникло желания залезть Серафиме под кофточку. Впрочем, ничего существенного я бы там и не обнаружил. Не было там ещё ничего существенного. Мы просто целовались с Серафимой, и это было восхитительно.

Мы и после, когда уже освоили науку поцелуев, не пытались зайти дальше дозволенного. Кем дозволенного? Наверное, почерпнутыми из общедоступной литературы и массового совдеповского киноискусства представлениями о взаимоотношениях полов, пуританством того времени и собственной нерешительностью и страхами, вполне возможно, ложными, что в совокупности можно назвать двумя словами – внутренние тормоза. Да, у нас были внутренние тормоза. Мы думали (и были уверены) – тайна должна открыться позже. А может быть, и не думали, просто мы были подростками.

Я прожил жизнь. У меня были женщины. Не скажу – много, но были. Только официально я был женат дважды. Были у меня минуты райского наслаждения и сумасшедших оргазмов. Было всё. Но никакие удовольствия и сексуальные восторги ничто по сравнению с теми нежными поцелуями в аллее сквера. Странно, мне уже пятьдесят три, без малого пятьдесят четыре, и те поцелуи уже давно покрыты и перекрыты множеством других, но их вкус я чувствую до сих пор. Это вкус клубники с молоком и чего-то ещё, неуловимого… Затрудняюсь описать этот вкус словами…

Далеко не каждый день мы с Симой целовались. Мы просто дружили с ней, зная, что придёт время (мы станем взрослыми) и тогда наша дружба станет взрослой дружбой и любовью навек. Мы и в те далёкие времена любили друг друга, но как-то по-детски, с оглядкой на свой возраст, на учителей и на родителей. С оглядкой на обстоятельства…

В четвёртом классе меня усадили с Серафимой за одну парту помимо моей воли – другого свободного места не было. Четыре года я просидел с ней по привычке. А в конце седьмого класса, если кому-нибудь из учителей и пришла бы в голову бредовая мысль нас рассадить, у него бы ничего не вышло. Мне приятно было сидеть за партой и чувствовать, что Сима рядом. Она по-прежнему была тиха и неразговорчива на уроках (примерная ученица!), но мне и не нужно было трещать с ней во время занятий, мне было вполне достаточно того, что она рядом. И я знал, что на перемене мы наговоримся всласть, и что после уроков пойдём вместе – либо ко мне, либо к ней – готовить домашнее задание. Но перед этим, конечно же, погуляем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.